

Конст. Федин

**Государственное
издательство
художественной
литературы**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ПЯТЫЙ

САНАТОРИЙ АРЕТУР

Роман

ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ

Пьеса

ВОЙНА И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Очерки и статьи

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Примечания
Б. БРАЙНИНОЙ

САНАТОРИЙ АРКТУР

Роман

Доктор Клебе стремительно прогорал. По его делам кредиторы назначили администрацию, их бухгалтер каждую неделю являлся в санаторий проверить поступления от пациентов и отчислить, сколько можно, в покрытие долгов Клебе.

Еще не так давно в Арктуре не было ни одного свободного места, и вполне естественной казалась разборчивость в приеме новых пациентов. Но вот уже второй год падало число приезжающих в Давос больных, и Клебе уверял, что никогда прежде люди не были такими скаредами, как последнее время: экономят даже на лекарствах, не говоря о притворном отсутствии каких-либо особых желаний, вроде стакана итальянского вермута или прогулки в санях, заложенных гуськом, с бубенцами.

В докторском халатике, без шляпы, Клебе стоял на открытом балконе, привычно жмурясь на ослепляющую пирамиду Тинцен-горна, смело поднятую над далекою кромкой горных вершин. Снега лежали обильные, в горах — уже голубые, в долине — еще подрумяненные чистым розовым утром. Сезон должен был бы давать себя чувствовать, зима установилась, а было тихо, слишком тихо.

Клебе повернул ящик радио резонатором к балконам больных. Передавалась звонкая, зовущая увертюра «Риенци». Опытный слушатель радио, доктор

тотчас распознал передачу с патефонной пластинки и сказал:

— Они помешались на экономии!

Он стучал кулаками по парапету балкона в такт повелительной музыке, и его раздражение постепенно рассасывалось увертюрой. Он любил Рихарда Вагнера и хотя считал «Риенци» слабой оперой, но и в ней различал возбуждавшую его вагнеровскую силу утверждения. Он стал помогать радиопередаче покачиванием головы. Он думал, что ведь бывают же на свете причуды судьбы, что вдруг его природная музыкальность будет общепризнанной и его назначат дирижером берлинской Филармонии. Вот он управляет оркестром искуснее Фуртвенглера, и все кругом потрясены, и Артуро Тосканини уступает ему пальму первенства в «Кольце Нибелунгов». Вокруг имени доктора Клебе растет слава, затмевающая всех дирижеров мира, и вот он приглашен в Милан, в театр La Scala, потом в Нью-Йорк, потом...

Радио смолкло, Клебе оттолкнулся от парапета, заглянул под рукав: была пора идти к больным. Откашливаясь, он поднялся на третий этаж и сначала зашел к майору.

Как большинство черногорцев, майор Пашич был высокий, с крупными конечностями, гренадерского размаха в плечах и груди. И его одышка, его беспомощность, его неохота вылезать из постели, несмотря на советы врачей больше гулять, — казались нелепыми. Он был из породы больных, привыкших к строгому однообразию многолетнего режима и навсегда уверивших себя, что за пределами Давоса их ожидает гибель. Всякую весну, с февраля, он начинал собираться на юг — отдохнуть от лечения и, может быть, даже слегка поблудить — на Ривьеру или совсем недалеко — в Локарно или в Меран. Но эти беспокойные мечтания просто кончались переездом в другой санаторий, после обычной ссоры с лечащим врачом или с кем-нибудь из больных. Майору было сорок, но многими чертами он был похож на полудетей-старичков Вильгельма Буша, картинки которого, со стишками, он иногда перелистывал в постели, хихикая.

Он лежал в черной шелковой ермолке, в очках-консервах с дымчато-желтыми стеклами, потому что его восточную комнату заливало солнце, а ему не хотелось протянуть руку к шнурочку, поворачивавшему лист картона, приделанный к оконному наличнику: это было собственное изобретение майора.

— Доброе утро, господин майор, — сказал доктор Клебе нараспев.

— Доброе утро, господин доктор.

— Как почивали?

— Благодарю вас.

— Температура?

Доктор взглянул на кривую температурного листа.

— Превосходно, — сказал он. — Пойдете гулять?

— Болит голова, — ответил майор.

Доктор знал, что без жалобы не обойдется, но новым голосом, мягким от участия, с готовностью непременно тотчас помочь, спросил:

— Что вы говорите? И ночью?

— И ночью.

— Я вам пришлю что-нибудь.

— У меня есть.

— Пирамидон?

— Я принял.

Доктор потрогал шнурок, протянутый к картону.

— Действует? — улыбнулся он.

— Такие вещи не портятся, — тоже улыбаясь, сказал майор.

— Вы правы. Портится только то, что стоит денег. Особенно когда их нет. Сейчас у меня в Арктуре не проходит часу, чтобы что-нибудь не сломалось. Карл чинит с утра до ночи.

— Да, у Карла обязанностей хоть отбавляй.

Отворачиваясь к окну, доктор спросил:

— Вы находите?

— Я недавно сосчитал: Карл исполняет обязанности девяти человек.

— Вы шутите, — воскликнул доктор, шумно откашливаясь и смеясь.

— А вот у меня записано, — сказал майор.

Перебирая тонкими белыми пальцами бумажки на ночном столе, он поднял темные очки на лоб, под самую ермолку, надел пенсне с узенькими стеклами без оправы и прочел:

— Коридорный, портье, рассыльный, истопник, полотер, дворник, лифтер, садовник-огородник, шофер-механик. Даже больше девяти.

— Вы позабыли еще, что Карл обязан быть вежливым и улыбаться, — обиженно сказал доктор. — Какой шофер, если я давным-давно продал автомобиль? А когда ездил на автомобиле, я держал особого истопника. А что значит садовник-огородник? Если Карл иногда притронется к эдельвейсам в моем альпийском садике, не превосходящем по размеру обыкновенной мужской лысины, это еще не делает его садовником. А почему огородник? Это собственная выдумка Карла — растить в парнике салат.

— Но вы этот салат подавали к столу, — кротко сказал майор.

— Я обещал Карлу заплатить за его лопухи, которые вы называете салатом.

— Вы вынуждены тоже называть их салатом, иначе получится, что вы кормили больных лопухами.

Доктор с мольбою протянул к майору руки.

— Милый, милый господин майор! Зачем вы создаете себе столько забот. Это не благоприятствует выздоровлению. Вы должны отвлекать свои мысли от окружающей вас действительности.

— Если бы я был религиозен...

— Какая жалость! Но почему вы так редко читаете, господин майор?

— Романы не способствуют долголетию.

— Вы правы. Слишком много написано дурных книг, я иногда прямо бешусь. Представьте...

Доктор сел на кровать в ногах майора.

— Представьте, милый господин майор. Недавно мне подвернулась французская книжонка — совершенно невероятно! Описывается вполне почтенный, богатый господин, и — понимаете — он живет со своей прислугой! Ужасно! Она беременеет, и он ее выбрасывает на улицу. Каков сюжет? За всю жизнь я не читал

книги более развратной и подлой. Что хотел автор — не понимаю! Но я сам себе неприятен, потому что окунулся в такую мерзость! Нет, благодарю вас! Я не буду читать никого, кроме своего милейшего Эдгара Уоллеса, — сказал доктор и, выдернув из кармана книжку, с удовольствием забарабанил по ней ногтями, приглашая майора полюбоваться.

На цветной обложке было изображено массивное лицо счастливого мужчины, держащего в энергичных пальцах папиросу с необычайно длинным мундштуком.

— Можно читать ночи напролет! Где французам! Безумно увлекает и вместе с тем рассеивает...

— Я хотел бы почитать... — буркнул майор.

— Уоллеса? — оживляясь, спросил доктор.

— Да, тоже... Но сначала этот роман... Про почтенного богатого господина...

Майор опустил на переносицу непроницаемые дымчатые очки. Секунду доктор колебался — поверить или нет?

— Но это действительно ужасный роман, — с шипением выдохнул он, вскакивая с кровати и защищаясь от майора простертыми руками.

— Я думаю, господин доктор, он не ускорит моего конца, — тихо возразил майор.

— Помилуйте, господин майор! — с укором и возмущением сказал доктор и тут же по-деловому глянул на часы. — Я заболтался!

Он понимающе кивнул пациенту.

— Хорошо, я пришла вам этот роман о почтенном богатом господине.

2

Когда Левшин начал выздоравливать, он осознал это не разумением и даже не чувствами, а каким-то новым, удивившим его инстинктом. После долгих месяцев непрерывного лежания по первому снегу его вывезли в санях, и он проехал главной улицей через весь городок. Закутанный в шубу и ковровую полость, в ва-

ленных ботах и в толстых перчатках, он куклой полулежал высоко в санях, почти вровень с кучерскими козлами. В эту короткую поездку он сделал множество открытий, которые поразили его сердце восторгом. Он открыл, что под полозьями хрустит снег, — не просто, конечно, хрустит (это он знал с детства), а как-то многогонно-певуче, какой-то ни на секунду не обрывающейся праздничной и даже ликующей песнью. Он открыл, что отработанный газ бензина пахнет ужасно смешно, и он не мог не засмеяться, когда красный автобус тяжело опередил сани, с басистым рокотом выпыхивая из глушителя сладко-вонючий дымок.

Любопытство ко всему росло в Левшине с увлекающей, веселящей быстротой.

Несколько минут сани обгоняли бежавших по обочине дороги лыжниц и лыжников. Красные лица оборачивались к нему, и он глотал, точно ледяную воду, затвердевшие на морозе улыбки, мелькающие взгляды влажных глаз. Это были ученики и ученицы санатория-школы, на подбор юный народ. Они бежали с открытыми головами, без варежек, в разноцветных шерстяных костюмах. Растрепанная белокурая девушка, большеногая, со сверкающим, под стагь снегу, оскалом, махнула Левшину лыжной палкой. Он хотел ответить, но пока тащил из-под полости руку, сани уже догнали другую лыжницу, он помахал ей неповоротливой рукою в перчатке, она по-ребячьи презрительно выпятила губу и отвернулась, а он смеялся, глядя на раскачивающуюся подвижку лыжников, которые, отставая от него, уходили в гору.

Все, что попадалось ему на глаза, было неожиданно ярко, как будто в горах, или, по принятому выражению здесь, наверху, знали особую тайну красок. Он увидел магазинное окно, сплошь в густых малиновых азиях, и с нетронуто-белого пути ему показалось, что языками пламени рванулся к нему и улетучился полыхающий полевой костер. Возле кофейни он увидел высеченного из куска льда медведя, и лед обдал его просвечивающей зеленью южного моря. Ослепляло солнце, люди двигались по снегу налегке,

без шапок и шуб, зима была сладостным состоянием, и уже привычно-горячо делалось заснеженному лицу Левшина.

Когда он вернулся домой и из Арктура трусцою выскочил в халатике доктор Клебе, выпрашивая, как прихлась прогулка, и все ли хорошо, а с открытых балконов заулыбались и закивали больные, Левшину вдруг захотелось, чтобы торжественное и немного смешное высаживание его из высоких саней видел доктор Штум. Он посмотрел на гору. В иззелена-черную еловую кайму был вклеен одинокий дом, укатанная глянцевая дорога кое-где высвечивала из леса, как стекло. Левшин думал увидеть летящего под гору верхом на санках Штума (тот любил так съезжать в гор-род), но дорога была пуста.

Тогда Левшин ощутил мгновенный и неожиданный прилив нежности к Штуму и тотчас понял, что именно ему обязан своим обновлением, своей жизнью.

С этого дня пойманный сознанием новый инстинкт укреплялся не переставая.

Лежа на балконе в меховом мешке, застегнутый ремнями, в неподвижности, которая уже не составляла страдания, а была наслаждением, Левшин смотрел в небо — гладко-голубое, уходившее в невесомую высоту и вдруг падавшее синей плитою на самые глаза, едва они начинали слезиться от мороза.

Слева вдалеке, за каменной оградой, видна была кучка низкорослых тополей. Левшин помнил все их оттенки — от иступленной зелени весны до осеннего горения желчи. С начала занятий в школах две девочки, возвращаясь домой, каждый день несколько минут простаивали под тополями, болтая перед расставаньем. Он изучил повадки этих подружек, ему казалось — он слышит их значительный, немного секретный разговор подростков. Он знал их платица, угадывал, когда одна из них обопрется ногой об цоколь ограды и будет стоять, как цапля, на одной ноге, когда они при прощанье возьмутся за руки, раскачиваясь и дергая друг друга. Они ни секунды не были спокойны. Листва осыпалась на них, с каждым днем гуще настилая ковер, который они ворошили ногами. Потом листья

стали падать реже, и за ветвями появились очертания перед тем невидимого дома. Однажды, наблюдая подруг, Левшин прочитал по их движениям историю ссоры. Сумки с книгами описывали многообразные фигуры вокруг спорщиц, изредка сталкиваясь и на мгновение приостанавливая полеты. Потом девочки сели на цоколь, сумки были поставлены на тротуар. Объяснение приходило к концу, и как будто наступал момент заключить мир. Последние листья тополей лениво отлетали от веток. Притихнув, подружки поднимали с земли листья и медленно рвали их на кусочки. Эти минуты раздумья и нерешительности Левшин пережил вместе с девочками, внезапно почувствовав, что нет, они не могут помириться! И правда, девочки вдруг взялись за свои сумки и, не оглянувшись, побежали в разные стороны. Листья были сметены с тротуара, подружки больше ни разу не появились под тополями. Уже после снегопада Левшин увидел одну из них в сопровождении школьника, ростом чуть повыше нее. Они стояли на том же месте, у ограды, смущенно перекладывая школьные сумки из одной руки в другую, сгребая ногами пушистый снег и старательно утапывая его в маленькие скользкие горки. Как всегда, не шевелясь, не подымая головы, Левшин глядел на это первое полудетское свидание, прислушиваясь к теплу своего счастья, разливавшемуся в крови. Он не хотел, да и не мог бы согнать улыбку с холодного лица: она по-зимнему залубенела от мороза.

Это вживание в неисчислимые мелочи окружения, прежде не замечаемые или наводившие усталость, превращало неподвижность лежания, когда-то пугавший одним своим именем «режим», во что-то деятельное, приятное.

Еще до снега кончилась кладка большого дома, краем видневшегося с правой стороны балкона. Каменщики итальянцы, работавшие на стройке, получив расчет, вечером пришли к дому. Они затянули песню в три голоса, и голоса были полные, заливные, и песня уходила в горы таким захватывающим дух зовом, что в первый раз за полгода Левшин позабыл о лечении. Расстегнув ремни, он быстро вылез из меш-

ка и кинулся к перилам. Он перегнулся в темноту. Обняв друг друга, раскачиваясь, четверо каменщиков шагали вокруг построенного ими дома. Они, видно, хорошо выпили родного кьянти, их песня была и довольной и грустной, она стихала, когда певцы исчезали за строением, напрягалась, когда они снова показывались. В этом хождении было что-то торжественное, рабочие как будто приносили клятву своему труду и прославляли его.

Левшин вздрогнул, услышав сдавленный возглас:

— Что это? Вы с ума сошли?

Из освещенной комнаты вылетел белый халат ассистентки Арктура — доктора Гофман.

— Подождите, — сказал Левшин.

— Зачем вы встали? Что случилось?

— Тише, — сказал он опять, поднимая руку и кивком показывая на перегородки соседних балконов.

Замолчав, они стали слушать пение. С упрямой силой, точно помогая работе, песня заглатывала безмолвную окрестность. Вольнее и шире делались голоса, неразъятно было их сплетение, словно они родились, чтобы петь вместе. Дома вокруг, с огоньками балконов и террас, с чуть заметными или только угадываемыми тенями неподвижно лежащих больных, как будто крались затаившимся плотом по черной реке.

— Похоже? — спросила Гофман.

— На что?

— Напоминает ваши песни, да?

На него глядели серые, чуть навывкате глаза, освещенные через открытую дверь комнаты. К ревнивому участию, которое уже привык в них замечать Левшин, словно добавился оттенок зависти.

— Немного напоминает, — ответил он.

Спохватившись, Гофман закомандовала:

— Довольно. Ложитесь немедленно. Слышите? В мешок, сию минуту!

Левшин откинул подбитые черным пахучим козьим мехом клапаны мешка и влез в него. Доктор Гофман принялась застегивать пряжки. Она хмурилась. Из большого нагрудного кармана ее халата торчали

стетоскоп, перкуссионный молоточек, вечное перо новейшей модели. Ее руки стали работать немного медленнее, когда она возилась с верхними наплечными пряжками, и теплые пальцы чуть скользнули по щеке Левшина.

Он сказал:

— Фрейлен доктор, я преисполнен к вам необыкновенного почтения.

— Взаимно, господин инженер.

— К вам очень идет стетоскоп. Я удивляюсь, между прочим, почему вы не носите постоянно в кармане небольшой термометр, спринцовку для горла и вообще легкий, красивый инструмент?

— Может быть, мне возить с собою весы для взвешивания пациентов?

— Нет, правда, — когда вы по утрам приходите с этим самым зеркальцем на голове, это придает вам такую невероятную солидность, что я робею. Почему вы не пошли в ларингологи?

— Извольте лежать, как всегда. И больше не делать глупостей. Вы должны дорожить своим выздоровлением.

Он сказал благоговейно-тихо:

— Фрейлен доктор, вы не поверите, до какой степени безумно я им дорожу!

Он видел, как, отвернувшись и уходя, она закусила подмазанную губу, и он долго смеялся, помногу набирая в грудь морозно-чистого воздуха, неудержимо довольный всем на свете.

3

Раз в полдень приехала новая пациентка. Она свалилась как снег на голову, и доктор Клебе заволновался, испугавшись, что она так же внезапно исчезнет. Он пригласил ее в лифт и, подымаясь на третий этаж, справился о самочувствии. Она пожаловалась только на утомление. Она ехала из Гамбурга, останавливалась переночевать в Базеле, — путь долгий.